



БЕЛАЯ ЛОШАДЬ

Когда это началось, трудно вспомнить сейчас, но чувство потери, утраты пришло оттуда, из детства. Мальчишкой бегал я со своими сверстниками дни напролет. А там, на окраине, за домами, на кургане, где нам запрещалось бывать, — там всегда паслась белая лошадь. Паслась она каждый день, и уж не вспомню

теперь, случалось ли мне видеть, как приводили или уводили эту лошадь. Но в памяти цепко держится зеленый, запретный курган. Такой зелени после встретить не доводилось. А на зелени той — белая, белая лошадь.

И внимания-то никто не обращал на нее — пасется и пасется. Нам, вечно воюющим и вечно побе-

ждающим генералам оврагов и курганов, было не до того. Мы сами по себе, а лошадь сама по себе.

Только вот однажды, годы спустя, вдруг не стало лошади. Беспокойство овладело мной. Подумал вдруг: вчера ведь тоже не было ее. Еле дотянул до следующего дня — а лошади нет как нет...

Минуло уж столько лет, но, приезжая к себе домой, я ищу глазами на зеленом кургане свою белоснежную лошадь. Курган с тех пор кажется выцветшим и осиротевшим.

И каждый раз, как и теперь, стоит только уехать — пасется, вижу ясно, пасется на небывало сочном зеленом кургане белая, белая лошадь. Пасется и машет хвостом, словно манит домой.



ОДИНОКАЯ ЛАСТОЧКА

Одинокая ласточка на тонком проводе старательно выводила свою песню. Затаив дыхание, я жадно вслушивался в привычную с детства трескотню. Знакомая мелодия властно обволакивала меня и уносила в прошлое. Вспомнилось, как мать, бывало, нарочито сердито покрикивала на клинохвостых ласточек, стрекочущих подолгу вблизи дома: «Ах вы ж, негодницы, ах вы бесстыжие, вам лишь бы ругать кого-то, проклинять...»

Бывало, в детстве, поддавшись всеобъемлющей любви к человечеству, я не ленился бежать из уютной, прохладной комнаты в зной, на улицу, чтобы разогнать сплетниц. После оставался доволен тем, что не дал хулить мир, который должен быть светел и прекрасен. На этот раз я внимал вестнице весны и обновления, желая услышать добрые вести, пытаясь понять неизвестный мне язык. Хотелось распознать в этом стрекоте хоть малое предзнаменование перемен к лучшему.

Болела мама. Горячее прерывистое дыхание, отсутствующий взгляд, глаза, устремленные в безвестность, ввергали нас в смятение и отчаяние. Мы то суетились без нужды, то впадали в оцепенение. Кто-то всхлипывал таясь, а кто-то не находил больше сил таиться. Словно отпугивая мысли о худшем, мы пытались деланым безмятежным тоном одергивать плачущих. Но предательски на самых обычных словах ломался голос.



Мама все чаще отказывалась от еды и заметно слабела. Два глотка воды, которые она одолела не без труда еще утром, были сродни «бзыу лульхь» — птичьему глотку.

Ласточка продолжала трещать, и мне вдруг почудилось, будто вокруг все по-прежнему, как когда-то в детстве. Вот-вот сейчас из-за угла покажется мама, юная, в извечной своей суете. Вихрем пронесется через двор и скроется стреми-

тельно за домом, не забыв при этом разбранить распевшуюся пичужку. Мне, жаждущему чуда, нестерпимо захотелось быть благодарным и малой птахе, и всем вокруг. А главное — страстно, до одури, захотелось убедиться в том, что мир действительно светел и прекрасен, и что он, мир, именно таков, каким я воспринимал его детским сердцем, за который я так радел когда-то, распугивая ласточек...

Чуда не случилось. Мир таков, каков он есть. Поспешное бегство в грезы — самообман. Следующим же утром мне предстояло осознать, что мамы у меня больше нет. И теперь «никогда» будет все больше и больше пребывать в моих мыслях о матери. Никогда я больше не загляну в мамины глаза. Никогда не услышу маминых молитв за стеной и ее нежного шепота, под который я так сладко засыпал. Никогда она не спросит больше «ушха-гъа» — «кушал?». И мамино хлеба мне больше не отведают никогда. А его вкус, теперь я знаю наверняка, станет для меня самой высокой пробой.

В одночасье перестал я понимать солнце с его постоянством. Не понимал и ветер с его легко-мыслием, и утро, наступившее в свой час, не на-

рушив векового порядка, также отказывалась принимать душу.

Июньское утро и в самом деле было роскошным. Солнце, как и положено ему, торжественно поднималось, только я не видел красок восхода. Я видел обветшалый ряд смазанных солнечным светом корпусов бывшей фермы, где свои силы и молодость оставила мама... Высоко-высоко в небе почти невидимый самолет прокладывал свой маршрут, и его едва слышимый гул перебивался кукованием щедрой кукушки, схоронившейся в зарослях верб. Я не успел загадать свой срок прощательнице, но мне было приятно думать о том, что, быть может, кто-то считает ее кукование, затаив дыхание и захлебываясь ожиданием долгой и обязательно счастливой жизни.

Маленькая Тамила, полутора лет от роду, является обладательницей проникновенных, неподражаемо чистых и доверчивых глаз. Она, раскрыв ротик, внимает, должно быть, в первый раз. А кукушка знай себе кукует, не унимается. Только успевай считать. «Не скупись, птица вещая, не скупись», — отзывается во мне шепот матери щемящей мольбой-оберегом.



МАМИН ХЛЕБ

Редкий день обходился без мамино хлеба. Первое, к чему тянулась рука, если пробуждался аппетит, — к хлебу. Расстраивалась всякая игра, когда случалось, что кто-нибудь появлялся с ломтем хлеба, потому как тут же каждый из нас, стараясь улизнуть незаметно, бежал домой за таким же удовольствием. Стремясь перещеголять других, обильно намазывали добрую краюху маслом, вареньем, медом, а иногда достаточно было просто смочить скупой водой и присыпать сахаром... Всякий день начинался с мамино хлеба, а с чего начинался мамин хлеб, пышущий жаром, аппетитный, распространяющий незабываемый аромат на всю округу?

Может быть, с попытки уговорить соседку Гошнаго приготовить дрожжи? Задолго до визита к ней мать проговаривала вслух и раз, и два, как же подступиться к своенравной соседке. «Дрожжи Гошнаго не обманут», — твердила мать. Или, может, со сбора хмеля в редкий день? Ведь ни на что не годился он, собранный до или после определенной поры. Или с помола муки? Когда с отцом возили пшеницу на мельницу, он, прежде чем за-

сыпать зерно, подходил к закромам, доставал муку, долго мял в руках, подносил близко к лицу, осторожно втягивал носом воздух, потом еще долго разговаривал с мужиками. Бывало, что мы возвращались домой без муки до поры, пока не разнесется весть о хорошем помоле.

Нужный жар для хорошей выпечки давали проверенные дубовые сухие поленья толщиной в руку. От одного их вида лицо матери преображалось. Если же с тягой не ладилось или же случалось, что не по нраву дрова, мать приходила в отчаянье. Она часто бегала от теста к печи, запускала ладонь в ее нутро и прислушивалась чутко, определяя по известным только хозяйке признакам, достаточно ли жара, не подбросить ли дров или довольно уже.

Еще с вечера, закладывая тесто, мать делалась строже обычного. Пытаясь урезонить нас, детей, хлопающих без конца дверью, ругалась неустанно, чтобы мы не выветривали впустую тепло из комнаты. Нередко случалось, что среди ночи тесто требовало к себе внимания. Оно то слишком усердно поднималось, неудержимо расплзаясь, а то и не думало подниматься вовсе, огорчая мать

всерьез. Весь последующий день проходил в су-ете и возне с печью, формами для выпечки и тестом. В редкий момент, когда сходились в одно целое подоспевшее тесто и жар в печи, по команде матери мы, дети, гуськом неслись к печи и едва успевали подносить к ее проворным рукам железные формы с поднявшимся до краев белым, словно пузырь, тестом.

— Скорее, скорее, — заметно волнуясь, то-ропила нас, расторопных, мать, — печь остынет.

Но за излишнее рвение и особенно тряску ко-рила тут же:

— Да не трясите так, тесто опадет.

Затем томительные полтора — два часа ожи-дания того, неведомого, что происходит за за-творенным притвором печи. Распространявшийся вначале робко, затем неудержимо во все преде-лы двора и дальше стойкий аромат свежей выпеч-ки, как знаменье скорого конца неизвестности, приводил в оживление всех домочадцев. Случа-лось, что мать решалась и позволяла себе вмеша-ваться в таинство, приоткрывая притвор и загляды-вая внутрь. Оставаясь довольной увиденным, она в приподнятом настроении еще больше суетилась, расстилая ложе для нового хлеба. Если же аромат выпечки заставлял себя ждать, если дрова не хо-тели дружно гореть, она не находила себе места и не могла себя заставить заглянуть внутрь и узнать, что же там...

Невыносимо было видеть, как маялась мать, если хлеб не удавался. Легко прогоревшие дро-ва исходили скудным жаром, и бледный хлеб, не пропеченный как следует, приводил ее в отчая-ние. И как же не случиться радости, когда добрая мука, душевно сработанные дрожжи Гошнаго, щедрые на жар дубовые поленья давали в итоге тот самый, мамин хлеб. Хлеб, пропеченный до густого, медного цвета, без подпалин, с пышной мякотью ослепительной белизны. Мама, в легком волнении, не обращая внимания на обжигающие железные формы, ловко извлекала готовый хлеб и спешно несла в широкой посудине в заранее приготовленное место, где, старательно укутав, выдерживала в томлении определенное время.

Подобное выражение лица матери помню только в минуты, когда она доставала свежее-печенный хлеб из еще теплой печи. Знакомые морщинки в уголках глаз обозначались еще четче от сдерживаемой улыбки, напряжение во взгляде сменялось спокойным, ясным светом. Загорелое лицо, вобравшее в себя жар печи и хлебов, не переставало сиять. В эти минуты мне казалось, что она наслаждалась, получая свою награду за возню с тестом, часто капризным, за все пере-

житые волнения. Радовалась тому, что распо-нала коварство недостаточности сухих дров, что не обманулась в муке, на редкость душевной, — и уходила усталость без следа, и долгий взгляд, ко-торым она одаривала горделивые буханки, драз-нящие медно-бронзовым, ровным, словно загар, отливом, я принимал за подтверждение своей догадки.

Торопливо, то и дело обжигаясь, она хватала за макушку румяный, еще хранящий жар углей но-ворожденный хлеб, взывающий к миру ароматом своим, и извлекала его из горячей формы. Если вдруг форма не хотела отставать, она ловко пе-рекидывала ее вверх дном, не обращая внимания на укусы укрощенного огня, и одним-двумя рез-кими движениями вытряхивала хлеб в белоснеж-ную посудину, к таким же хлебам. Смачивая руки в холодной воде, она обязательно смазывала во-дой темно-коричневую верхушку каждой буханки, перед тем как старательно укрыть тряпьем.

Вслед убывающему теплу хлеба и печь пе-рекликались долгим, едва уловимым потрески-ванием. Лицо матери не переставало светиться восторгом. А если случалось, что жар оставлял на макушках смоляные отметины, она тут же хватала нож и быстро соскабливала черноту, кривя губы в такт движениям руки. Обнаружив на отдельных хлебах причудливые наплывы, обрывала их и про-тягивала мне со словами:

— Твой дед это любил очень.

Управившись с делами, мать всегда умело раз-ламывала свежееиспеченный хлеб, который тут же выдыхал без остатка весь жар изнутри. И угощал-ся им всякий, кого случай, а порой и аромат при-водил к нам в дом в эту пору. Резать горячий хлеб было сродни святотатству, его непременно следо-вало ломать, и охотно ломали, приговаривая:

— Ы-ы-ы, Щир, твой хлеб словно вата.

И было достаточно малой похвалы, чтобы за-горелое лицо матери прибавило сияния. Кстати оказывалось и молоко, охлажденное предусмо-трительно в колодце. Сочетание этих вкусов, как код поры детства, закладывалось в сознание с каждым куском обжигающей белоснежной мя-коти и холодным глотком.

Обычно на следующий день мать возвращала хлеб тем, у кого занимала, или же давала взаймы. Новый хлеб расходился скоро, но спустя всего лишь несколько дней мы сами получали в ответ та-кой же свежий горячий хлеб. И у каждой хозяйки он был свой, неповторимый. По аромату, по вку-су, степени прожарки и по форме, наконец. Мать придирчиво рассматривала чужую выпечку. Как всякой ревнивой хозяйке, угодить ей было весьма

непросто, а мы лишний раз убеждались в том, что лучше мамино хлеба не бывает.

Бабушка по линии матери, с которой случались частые обмены хлебом, трясла головой осуждающе, цокала языком и укоризненно говорила:

— Если ваша мать не сожжет до сажки, то это и не хлеб будет.

Мать, в свою очередь, принимая бабушкин хлеб такого же бледного вида, как сама бабушка, коротко заключала:

— Тесто тестом.

Мы, домочадцы, привычно хрустели любимой корочкой и были всегда на стороне матери.

Незабываемой хрустящей корочкой хлеб покрывался всего на один день. Я любил его с айраном, с домашней сметаной, с вареньем, с молоком, а иногда усердно натирал его зубчиком чеснока, и это было уже совсем другое лакомство. Но больше всего любил я хлеб без ничего, любил его аромат и вкус, его знакомый хруст. Просто срежешь самую корочку без мякиша и хрустишь, наслаждаясь ароматом и вкусом. Царапая губы шершавой корочкой, затем долго ворочая во рту эту вкуснейшую кашу, понимаешь, что нет и не может быть лучшего лакомства на свете, чем мамин хлеб.



СКИТАЛЕЦ

Шел человек. Не семенял и не вышагивал. Шел размеренным, давно привычным шагом. В самой манере ставить ноги, неспешно и упруго, чувствовалось, что он исходил немало дорог.

— Айса, куда бежишь? — спрашивали его люди.

— К себе.

— Но дом твой в другой стороне?!

— Всякая дорога ведет к себе... — спокойно отвечал он и устремлялся в бесконечность.

Ноги в истоптанной обуви волочились сзади: они не поспевали за иссушенным телом. На жилистой, словно жгут, шее голова не знала покоя. Выцветшие глаза надолго не задерживались ни на чем. И малого, и взрослого Айса встречал добродушной улыбкой и, переминаясь с ноги на ногу, терпеливо ждал вестей. Но очень скоро его глаза теряли блеск, улыбка сходила с лица, и он, не дослушав суетных слов, не простившись, уходил прочь. Тонкие, сухие губы старика были привычны к молчанию, и люди думали: «Сказать нечего, вот и молчит себе». Но однажды в паузе, возникшей в чужом споре, ни к кому не обращаясь, он тихо молвил:

— А я, глупый, думал, что многого достиг, научившись говорить, но только научившись молчать, понял, как был глуп...

Подавшись телом вперед и наклонившись к земле, скиталец снова тронулся в путь. Голову, однако, не опустил: то, что творилось под ногами, его не занимало. Руки, вяло сцепленные, покоились сзади на поясице. Время от времени правая рука, выскользнув из левой, падала вниз. После

колебаний она замирала. Затем кисть словно наливалась свинцом, тянула, гнула всю фигуру к земле. Так он шел некоторое время. После, будто бы устав нести тяжелую руку, он вновь привычным движением возвращал ее за поясицу.

— Слышал, что изрек наш молчун? — спрашивали друг у друга люди.

— Что? Что если все будет получаться так, как хочется, велико искушение вообразить, что ты больше, чем есть на самом деле?

Словно заведенный, скиталец, не заботясь о себе, одержимо шел и шел. Только почему-то правая рука с известной ему периодичностью меняла свое место. То свешивалась непосильной ношей, то ненадолго покоилась на поясице. Совершенно очевидным было то, что путник не знает ни усталости, ни отдыха, а мне казалось, что он нуждается в том и другом...

Глубокой ночью, после бесконечного знойного июльского дня, в котором уместились и летняя страда, и заботы по дому, и юношеские забавы за полночь, мать встретила меня по обыкновению молча. Бесшумно ступая, собрала поесть. Удовлетворенно наблюдала за мной, ненасытным. Затем, стараясь не шуметь, приготовила мне постель и, так же мягко ступая, ушла к себе.

Пережитое днем роем вилось вокруг, когда до моего сознания из соседней комнаты донесся привычный возглас матери: «А ох-ху гуц...» И дальше последовала череда молитв.

Трудно и представить себе, сколько раз мне доводилось засыпать под этот шепот. Но всякий раз умиротворенность и безмятежность в голосе

матери были беспредельны. Самому Морфею не сыскать подобных чар в своем арсенале. И, совсем уже засыпая, я подумал: «Может быть, тот скиталец ищет по свету голос своей матери?»

Все может быть. Всегда в бездонных материнских глазах и ее отходчивом взгляде покоится истина. Всегда в ее певучем и тихом шепоте таится покой...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«ГДЕ МАЛО СЛОВ, ТАМ ВЕС ОНИ ИМЕЮТ...»



Его лирические миниатюры, как и его пластические работы, отличаются законченностью формы, выразительным лаконизмом мысли и при этом тонкой проработкой деталей. Глаз художника схватывает картинку, нередко приобретающую для него символический смысл, его память хранит множество цветовых, жестовых и иных нюансов — и вот возникает образ белой лошади на густо-зеленом лугу как воплощение куда-то пропавшего детства; а вот слагается гимн маминному хлебу, аромат, вкус, цвет и свет которого становятся для героя ценностными ориентирами, связываются с памятью рода. Его тексты, с одной стороны, подобны зарисовкам, они выхватывают из жизненного потока или потока воспоминаний яркую деталь, фрагмент, фигуру — и запечатлевают ее, легко, немногословно и зримо. С другой стороны, его тексты — это визуализированная

Когда прозу пишет поэт, фильм снимает театральный режиссер, а музыкант ставит драматический спектакль, результат бывает разным в смысле успеха предприятия, но почти всегда можно заметить, как работает «стилевая инерция» приоритетного для автора направления творчества. То есть проза поэта непременно будет помнить о законах поэзии, фильм театрала вберет элементы сценического языка, а спектакль обнаружит ритмическую основу. Можно предположить, что словесное творчество художника будет тяготеть к повышенной визуальности и некоторой статичности.

Предположить — не значит не испытать радости открытия. Литературные опыты Рамазана Хуажева, выдающегося мастера из Адыгеи, сохраняющего национальные традиции резьбы по дереву, — это, несомненно, проза художника.



мысль, философское обобщение, которое не выливается в развернутое высказывание, не развивается в хитросплетениях сюжета, но застывает в выразительном зрительном образе, усиленном связью с национальными корнями. В этом смысле его художественные панно могут стать иллюстрациями его лирических миниатюр, несмотря на статуарность первых и воздушную графичность вторых.

Так что шекспировская строчка, вырванная из контекста сонета, помогает нам передать весомость лаконизма — качество, которым, кстати, отличается не только стиль адыгейского художника и прозаика, но и манера его речи и поведения. Состоявшийся мастер, председатель Союза художников Адыгеи, он немногословен и сдержан

не той сдержанностью сурового горца, который привык к пониманию с полуслова; скорее, ты чувствуешь, что этот тонкий и обаятельный человек, без всяких покушений на учительство, переполнен мыслями, впечатлениями, образами, носит в себе целый причудливый мир, и если захочет поделиться с собеседником, то найдет сначала максимально отточенную форму — идет ли речь о слове или о резце.

Ирина Монисова

Ирина Монисова — литературовед, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

